**Иван Шмелев**

Михайлов О.Н.

**(1873-1950)**

"Как бы там ни судили академики от литературы о писательском наследстве Шмелева, - замечал, откликаясь на его кончину, историк А. Карташев, - это их право и компетенция, но есть и не избудет около Шмелева еще другой, массовый, читательский суд. И вот тут-то произошло нечто довольно редкое, я бы сказал, исключительное. В нашей новейшей литературе еще небывалое. Шмелев, и сам того не подозревая, попал в некую, не литературно-формальную, а духовно-биологическую точку. Он спустился в недра русского простонародного церковного благочестия и там попал во власть суда, ни от каких академий не зависящего, суда собора церкви народной. Суд этот не боится переоценки ценностей. Критерии его устойчив, тысячелетен, неизменен. Там Шмелева признали своим и почти уже канонизировали. Так массовая читательская оценка слилась с оценкой церковной. А это факт тяжеловесный. От него не отмахнешься ни замалчиванием, ни непризнанием. Соборно-церковная оценка лишь в последнюю очередь эстетическая, художественная. А в первую голову - учительная, назидательная, гopе-возносящая. Она признала Шмелева учителем. Так претендент на светского "учителя жизни" превратился в учителя церковного. У людей па ночном столике наряду с молитвослоном и Евангелием лежат томики "Лета Господин", как прежде лежали "Жития святого" Дмитрия Ростовского. Это уже не литература... Это "душа просит". Это утоление голода духовного"1.

Сегодня когда читатель получил наконец лучшие книги Шмелева и среди них - "Лето Господне", "Богомолье", "Солнце мертвых", эти поминальные слова начинают звучать пророчески.

Каким же. он был, этот искатель правды, заступник и друг обиженных, мученик и, наконец, учитель?

"Среднего роста, тонкий, худощавый, большие серые глаза... Эти глаза владеют всем лицом... склонны к ласковой усмешке, но чаще глубоко серьезные и грустные. Его лицо изборождено глубокими складками-впадинами от созерцания и сострадания... лицо русское, - лицо прошлых веков, пожалуй - лицо старовера, страдальца. Так и было: дед Ивана Сергеевича Шмелева, государственный крестьянин из Гуслиц Богородского уезда Московской губернии, - старовер, кто-то из предков был ярый начетчик, борец за веру - выступал при царевне Софье в "прях", то есть в спорах о вере. Предки матери тоже вышли из крестьянства, исконная русская кровь течет в жилах Ивана Сергеевича Шмелева".

Такой портрет Шмелева дает в своей книжке чуткий, внимательный биограф писателя, его племянница Ю. А. Кутырина2.

Портрет очень точный, позволяющий лучше понять характер Шмелева-человека и Шмелева-художника. Глубоко народное, даже простонародное начало, тяга к нравственным ценностям, вера в высшую справедливость и одновременно резкое отрицание социальной неправды определяют его натуру. Более подробное объяснение ее, ее истоков, развития мы находим в биографии Шмелева.

И. С. Шмелев родился в Москве, в Кадашевской слободе 21 сентября (3 октября) 1873 года, в семье подрядчика. Москва - глубинный исток его творчества. Коренной житель первопрестольной, Шмелев великолепно знал этот город и любил его - нежно, преданно, страстно. Именно самые ранние детские впечатления навсегда заронили в его душу и мартовскую капель, и вербную неделю, и "стояние" в церкви, и путешествие по старой Москве. Она жила для Шмелева живой и первородной жизнью, которая и посейчас напоминает о себе в названиях улиц и улочек, площадей и площадок, проездов, набережных, тупиков, сокрывших под асфальтом большие и малые поля, полянки, всполья, пески, грязи и глинища, мхи, ольхи, лаже дебри, или дерби, кулижки, болотные места и сами болота, кочки, лужники, вражки-овраги, ендовырвы, могилицы, а также боры и великое множество садов и прудов. И ближе всего Шмелеву оставалась Москва в том треугольнике, который образуется изгибом Москвы-реки с водоотводным каналом и с юго-востока ограничен Крымским валом и Валовой улицей, - Замоскворечье, где проживали купечество, мещанство и множество фабричного и заводского люда. Самые его поэтичные книги - о Москве, о Замоскворечье.

Глубоки московские корни Шмелевых. Прадед писателя жил в Москве уже в 1812 году и, как полагается кадашу, торговал посудным и щепным товаром. Дед продолжал его дело в брал подряды на постройку домов. О крутом и справедливом характере деда Ивана Ивановича (в семье по мужской линии переходили два имени: Иван и Сергей) Шмелев рассказывает в автобиографии: "На постройке Коломенского дворца (под Москвой) он потерял почти весь капитал "из-за упрямства" - отказался дать взятку. Он старался "для чести" и говорил, что за постройку ему должны кулек крестов прислать, а не тянуть взятки. За это он поплатился: потребовали крупных переделок. Дед бросил подряд, потеряв залог и стоимость работ. Печальным воспоминанием об этом в нашем доме оказался "царский паркет" из купленного с торгов и снесенного на хлам старого коломенского дворца.

"Цари ходили! - говаривал дед, сумрачно посматривая в щелистые рисунчатые полы. - В сорок тысяч мне этот паркет влез! Дорогой паркет..."

После деда отец нашел в сундучке только три тысячи. Старый каменный дом да эти три тысячи - было все, что осталось от полувековой работы отца и деда. Были долги"3.

Особое место в детских впечатлениях, в благодарной памяти Шмелева, хочется сказать - место матери, занимает отец, Сергей Иванович, которому писатель посвящает самые проникновенные, поэтические строки. Собственную мать Шмелев упоминает в автобиографических книгах изредка и словно бы неохотно. Лишь отраженно, из других источников, узнаем мы о драме, с ней связанной, о детских страданиях, оставивших в душе незарубцевавшуюся рану. Так, В. Н. Муромцева-Бунина отмечает в дневнике от 16 февраля 1929 года: "Шмелев рассказывал, как его пороли, веник превращался в мелкие кусочки. О матери он писать не может, а об отце - бесконечно"4.

Вот отчего и в шмелевской автобиографии, и в позднейших книгах-воспоминаниях так много - об отце.

"Отец не окончил курса в мещанском училище. С пятнадцати лет помогал деду по подрядным делам. Покупал леса, гонял плоты и барки с лесом и щепным товаром. После смерти отца занимался подрядами: строил мосты, дома, брал подряды по иллюминации столицы в дни торжеств, держал портомойни на реке, купальни, лодки, бани, ввел впервые в Москве ледяные горы, ставил балаганы на Девичьем поле и под Новинским. Кипел в делах. Дома его видели только в праздник. Последним его делом был подряд по постройке трибун для публики на открытии памятника Пушкину. Отец лежал больной и не был на торжестве. Помню, на окне у нас была сложена кучка билетов на эти торжества - для родственников. Но, должно быть, никто из родственников не пошел: эти билетики долго лежали на окошечке, и я строил из них домики...

Я остался после него лет семи"5.

Семья отличалась патриархальностью, истовой религиозностью ("В доме я не видал книг, кроме Евангелия..." - вспоминал Шмелев). Впрочем, неотъемлемой чертой этой патриархальности было и патриотическое чувство, пылкая любовь к родной земле и ее истории, героическому прошлому.

Патриархальны, религиозны, как и хозяева, и преданны им были слуги. Они рассказывали маленькому Ване истории об иноках и подвижниках, сопровождали его в путешествии в Троице-Ссргиеву лавру, знаменитый монастырь, основанный преподобным Сергием Радонежским. Им он читал Пушкина и Крылова. Позднее Шмелев посвятит одному из них, старому "филенщику" Горкину, лирические воспоминания детских лет.

Совсем иной дух, чем в доме, царил на замоскворецком дворе Шмелевых - сперва в Кадашах, а потом на Большой Калужской, - куда со всех концов России в поисках заработка стекались рабочие-строители.

"Ранние годы, - вспоминал писатель, - дали мне много впечатлении. Получил я их "па дворе" (...). Во дворе стояла постоянная толчея. Работали плотники, каменщики, маляры, сооружая и раскрашивая щиты для иллюминации. Приходили получать расчет и галдели тьма народу. Заливались стаканчики, плошки, кубастики. Пестрели вензеля. В амбарах было напихано много чудесных декораций с балаганов. Художники с Хитрова рынка храбро мазали огромные полотнища, создавали чудесный мир чудовищ и пестрых боев. Здесь были моря с плавающими китами и крокодилами, и корабли, и диковинные цветы, и люди с зверскими лицами, крылатые змеи, арабы, скелеты - все, что могла дать голова людей в опорках, с сизыми носами, все эти "мастаки и архимеды", как называл их отец. Эти "архимеды и мастаки" пели смешные песенки и не лазили в карман за словом. Слов было много на пашем дворе - всяких. Это была первая прочитанная мною книга - книга живого, бойкого и красочного слова. Здесь, во дворе, я увидел народ. Я здесь привык к нему и не боялся ни ругана, ни диких криков, ни лохматых голов, ни дюжих рук. Эти лохматые головы смотрели на меня очень любовно. Мозолистые руки давали мне с добродушным подмигиваньем и рубанки, и пилу, и топорик, и молотки и учили, как "притрафляться" на досках, среди смолистого запаха стружек, я ел кислый хлеб, круто посоленный, головки лука и черные, из деревни привезенные лепешки. Здесь я слушал летними вечерами, после работы, рассказы о деревне, сказки и ждал балагурства. Дюжие руки ломовых таскали меня в конюшни к лошадям, сажали на изъеденные лошадиные спины, гладили ласково по голове. Здесь я узнал запах рабочего пота, дегтя, крепкой махорки. Здесь и впервые почувствовал тоску русской души в песне, которую пел рыжий маляр. "И-эх и темы-най лес... да эх и темы-на-ай..." Я любил украдкой забраться в обедающую артель, робко взять ложку, только что начисто вылизанную и вытертую большим корявым пальцем с сизо-желтым ногтем, и глотать обжигающие щи, крепко сдобренные перчиком. Многое повидал я па нашем дворе и веселого и грустного. Я видел, как теряют на работе пальцы, как течет кровь из-под сорванных мозолей и ногтей, как натирают мертвецки пьяным уши, как бьются на стенках, как метким и острым словом поражают противника, как пишут письма в деревню и как их читают. Здесь я получил первое и важное знание жизни. Здесь я почувствовал любовь и уважение к этому народу, который все мог. Он делал то, чего не могли делать такие, как я, как мои родные. Эти лохматые на моих глазах совершали много чудесного. Висели под крышей, ходили по карнизам, спускались под землю в колодезь, вырезали из досок фигуры, ковали лошадей, брыкающихся, писали красками чудеса, цели песни и рассказывали дух захватывающие сказки...

Во дворе было много ремесленников - бараночников, сапожников, скорняков, портных. Они дали мне много слов, много неопределенных чувствований и опыта. Двор наш для меня явился первой школой жизни - самой важной и мудрой. Здесь получались тысячи толчков для мысли. И все то, что теплого бьется в душе, что заставляет жалеть и негодовать, думать и чувствовать, я получил от сотен простых людей с мозолистыми руками и добрыми для меня, ребенка, глазами"6.

Сознание мальчика, таким образом, формировалось под разными влияниями. "Наш двор" оказался для Шмелева первой школой правдолюбия и гуманизма, что во многом предопределило характер его будущего творчества и позицию автора - защитника обиженных и угнетенных ("Гражданин Уклейкин", 1907; "Человек из ресторана", 1911; "Неупиваемая Чаша", 1919; "Наполеон", 1928, и др.). Домашнее воспитание заронило в его душу глубокую любовь к России, веру в победу высшей справедливости, тягу к нравственно-духовным и религиозным исканиям.

Однако, возвращаясь к той атмосфере, которая царила в шмелевском доме, следует сказать, что при всей патриархальности и верности старозаветным укладам в ней ощущались - и чем далее, тем сильнее - веяния культуры, образования, искусства. И в этом, бесспорно, была заслуга матери. Неласковая, жестокая, волевая, она прекрасно понимала, как важно дать пятерым детям отличное образование, и добилась этого, несмотря на резко ухудшавшееся материальное положение семьи после нежданной смерти кормильца-мужа.

Шмелев-гимназист открыл для себя новый, волшебный мир - мир литературы и искусства.

Это определило его увлечения - сперва театром (он вызубрил весь репертуар у Корша), а потом - музыкой. Старшая сестра училась в консерватории и собиралась, как вспоминал сам Шмелев, "кончать "на виртуозку". Забравшись под фикус, мальчик часами слушал, как она играла сложные пьесы - Лунную сонату Бетховена или "Бурю на Волге" Аренского (автобиографический рассказ "Музыкальная история", 1934). Неистовый "музыкальный роман" кончился трагикомически. Мальчик послал Аренскому написанное в состоянии "какого-то умопомрачения и страсти" либретто по лермонтовскому "Маскараду", в полном убеждении, что маэстро положит его на музыку. Но Аренский не удостоил его даже ответом, а текст стал гулять по консерватории. Сестра и ее очаровательная подруга (для которой либреттист придумал особенно выигрышные арии) преследовали Ваню "перлами" из его сочинения:

|  |
| --- |
| Мы игроки, мы игроки...Каки'-каки'Мы игроки!.. |

Гораздо важнее для юного Шмелева оказались первые опыты в художественной прозе. "Вышло это так просто и неторжественно, - вспоминал он в автобиографическом очерке 1931 года "Как я стал писателем", - что я и не заметил. Можно сказать, вышло это непредумышленно. Теперь, когда это вышло на самом деле, кажется мне порой, что я не делался писателем, а будто всегда им был, только - писателем "без печати". В нервом классе гимназии он носил прозвище "римский оратор" и был прославленным рассказчиком, специалистом по сказкам.

Страсть к "сочинительству" была необоримой. И некую светлую побудительную роль, безусловно, сыграл А. П. Чехов (очерки 1934 года "Как я встречался с Чеховым"). Образ его легкой, но незабываемой тенью вошел в память маленького гимназиста.

Случайные встречи через много лет стали казаться Шмелеву судьбоносными в выборе пути писателя - страдальца, заступника народного.

Чехов остался на всю жизнь его истинным идеалом. Но были и другие влияния, пробуждающие творческое начало. В гимназических буднях, где большинство педагогов отталкивало мальчика своей рутиной, казенным формализмом, воистину светлым лучом выделялся преподаватель словесности, "незабвенный" Федор Владимирович Цветаев. Пятиклассник Шмелев получил наконец свободу: пиши как хочешь!

"И я записал ретиво "про природу", - вспоминал Шмелев. - Писать классные сочинения на поэтические темы, например - "Утро в лесу", "Русская зима", "Осень по Пушкину", "Рыбная ловля", "Гроза в лесу"... - было одно блаженство". Это было совсем не то, что задавалось раньше: не "Труд и любовь к ближнему как основы нравственного совершенствования" (...) и не "Чем отличаются союзы от наречий".

Кто знает, быть может, если бы не Цветаев, мы не знали бы сегодня замечательного писателя Шмелева...

"Плотный, медлительный, как будто полусонный, говоривший чуть-чуть на "о", посмеивающийся чуть глазом, благодушно, Федор Владимирович любил "слово": так, мимоходом будто, с ленцою русской, возьмет и прочтет из Пушкина... Господи, да какой же Пушкин! Даже Данилка, прозванный "Сатаной", и тот проникался чувством.

|  |
| --- |
| Имел он песен дивный дарИ голос, шуму вод подобный, - |

певуче читал Цветаев, и мне казалось, что - для себя.

Он ставил мне за "рассказы" пятерки с тремя иногда крестами, - такие жирные! - и как-то, тыча мне пальцем в голову, словно вбивал в мозги, торжественно изрек:

- Вот что, муж-чи-на... - а некоторые судари пишут "муш-чи-на", как, например, зрелый му-жи-чи-на Шкробов! - у тебя есть что-то... некая, как говорится, "шишка". Притчу о талантах... пом-ни!"

Видимо, под благотворным влиянием Цветаева резко расширился умственный кругозор Шмелева-гимназиста, обогатился его духовный мир. в который вошли новые книги, новые авторы. В автобиографии он сам отмечал:

"Короленко и Успенский закрепили то, что я видел из жизни на нашем дворе. Некоторые рассказы из "Записок охотника" соответствовали тому настроению, которое во мне крепло. Это настроение я назову - чувством народности, русскости, родного. Окончательно это чувство во мне закрепил Толстой. Его "Казаки"

и "Война в мир" меня закрутили и потрясли. И помню, закончив "Войну и мир", - это было в шестом классе, - я впервые почувствовал величие, могучесть и какое-то божественное, что заключено в творениях писателей. Писатель - это величайшее, что есть на земле и в людях. Перед словом "писатель" я благоговел. И тогда не навеянное уроками русского языка, а добытое внутренним опытом, встали передо мной как две великие грани - Пушкин и Толстой"7.

Однако собственные его литературные опыты удачи пока не приносили. Он плакал, когда писал ночами сентиментальный рассказ "Городовой Семен" (подражание "Будке" Г. Успенского), но рукопись вернули. Другой, юмористический, рассказ набрали в журнале "Будильник" - его зарезали в цензуре. И все же пережитый восторг творчества не давал покоя. Гимназист сочинял роман из сибирской жизни, стихи на тридцатилетие освобождения крестьян, драму, в которой "он" и "она" умирали от чахотки. И все же первый успех пришел. С темой, более скромной и, главное, близкой Шмелеву. И тут, очевидно, сыграли свою роль "цветаевские" сочинения на поэтические темы, "про природу".

Лето перед выпускным классом Шмелев провел на глухой речушке, у старой мельницы. И вдруг, посреди упражнений с Гомером, Софоклом, Вергилием, он почувствовал, по собственным словам, "что-то", необыкновенный прилив творческого возбуждения и написал большой рассказ с маху, за один вечер. А в июле 1895 года, уже студентом, получил по почте толстую книгу журнала "Русское обозрение" со своим рассказом "У мельницы". Руки тряслись, прыгали мысли: "Писатель? Это я не чувствовал, не верил, боялся думать. Только одно я чувствовал: что-то я должен сделать, многое узнать, читать, вглядываться и думать... готовиться. Я - другой, другой".

Но до настоящего писательства еще предстоял долгий и трудный путь.

С исключительной страстностью шмелевской натуры мы сталкиваемся не раз, когда знакомимся с его биографией. В молодости его круто шатало: от истовой религиозности к сугубому рационализму в духе шестидесятников, от рационализма - к учению Л. Н. Толстого, к идеям опрощения и нравственного самоусовершенствования. Учась на юридическом факультете Московского университета (1894-1898), Шмелев неожиданно для себя серьезно увлекается ботаническими открытиями К. А. Тимирязева. И вдруг новый прилив религиозности. После женитьбы в качестве свадебной поездки осенью 1895 года он избирает древнюю обитель, Валаамский Преображенский монастырь па северо-западе Ладоги.

Впечатления оказались неожиданными, противоречивыми, пестрыми. "Светлый Валаам" явил студенту и некоторые подробности суровой и безрадостной жизни рядовых монахов, тунеядство иных пастырей, вызвал ироническую улыбку в рассуждениях об "аскетизме плоти" и вовсе неприязненное изображение "любопытствующих", праздных посетителей, пьяноватых купчиков и девок. Так родились очерки "На скалах Валаама". "Два месяца писал. Перечитал, переписал, прорезал, еще переписал, как прорезал. Ну, куда такое!" - вспоминал Шмелев позднее в автобиографическом рассказе "Первая книга" (1934).

Изданная за счет автора (1897), она была остановлена в цензуре. "Сам" всесильный обер-прокуратор Святейшего синода Победоносцев дал лаконичное распоряжение: "задержать". Обезображенная цензурой, "израненная, в пластырях", книга раскупалась плохо, и бо'льшая часть тиража была продана молодым автором букинисту за гроши. Первый выход в литературу получился неудачным. Перерыв затянулся на целое десятилетие.

После окончания университета и года военной службы Шмелев восемь лет тянет лямку унылого чиновничества в глухих углах Московской и Владимирской губерний. Субъективно очень мучительные, годы эти обогатили его знанием того огромного и застойного мира, который можно назвать уездной Россией. "Служба моя, - отмечал писатель, - явилась огромным дополнением к тому, что я знал из книг. Это была яркая иллюстрация и одухотворение ранее накопленного материала. Я знал столицу, мелкий ремесленный люд, уклад купеческой жизни. Теперь я узнал деревню, провинциальное чиновничество, фабричные районы, мелкопоместное дворянство"8. В уездных городках, фабричных слободках, пригородах, деревнях встречает Шмелев прототипов героев многих своих повестей и рассказов 900-х годов. Отсюда вышли "По спешному делу" (1907), "Гражданин Уклейкин", "В норе" (1909), "Под небом" (1910), "Патока" (1911).

До этих углов уже доходили первые раскаты приближающейся революционной грозы. В обстановке наступавшего общественного подъема, в радостно-тревожной атмосфере первой русской революции и следует искать причины, заставившие Шмелева снова взяться за перо. "Я был мертв для службы, - рассказывал он критику В. Львову-Рогачевскому. - Движение девятисотых годов как бы приоткрыло выход. Меня подняло. Новое забрезжило передо мной, открывало выход гнетущей тоске. Я чуял, что начинаю жить"9. И основные произведения Шмелева, написанные до "Человека из ресторана", - "Вахмистр" (1906), "Распад" (1906), "Иван Кузьмич" (1907), "Гражданин Уклейкин" - все прошли под знаком первой русской революции.

Направленностью, всем существом своих произведений этих лет Шмелев был близок писателям-радикалам, группировавшимся вокруг издательства "Знание", в котором с 1900 года ведущую роль стал играть М. Горький. Огромный запас жизненных впечатлений, требовавших исхода, помог Шмелеву в обличении виновников бесправия и нищеты "маленького" человека, в изображении угнетенных, в которых революция высекает искру протеста, человеческого достоинства. В лучших своих произведениях этих лет- "Распад", "Патока", "Гражданин Уклейкин" и, наконец, в повести "Человек из ресторана" - Шмелев продолжает и развивает тему "маленького" человека, столь плодотворно разработанную литературой XIX века.

Самое последнее место в ряду "маленьких людей" занимает Уклейкин - "лукопер", "шкандалист" и "обормот". Он давпо проникся сознанием своей потерянности и ничтожности. Однако в жалком сапожнике клокочет необоримый стихийный протест. Этот отпетый "озорник" сродни бунтующим босякам молодого Горького. Мало того. Дитя своего времени, Уклейкин ощущает в себе пробуждение гражданского, общественного сознания. Дальнейшее развитие темы "маленького человека" в принципиально важном повороте этой гумнастической традиции мы находим в самом значительном произведении Шмелева дореволюционной поры - повести "Человек из ресторана".

В появлении этой "тузовой" вещи, да и в самой судьбе писателя важную и благотворную роль сыграл М. Горький. Именно Горькому, его помощи и поддержке обязан во многом Шмелев завершением работы над повестью "Человек из ресторана", которая выдвинула его в первые ряды русской литературы. "От Вас, - писал Горькому Шмелев 5 декабря 1911 года, уже по выходе в свет повести, - я видел расположение, помню его и всегда помнить буду, ибо Вы яркой чертой прошли в моей деятельности, укрепили мои первые шаги (или, вернее, первые после первых) на литературном пути, и если суждено мне оставить стоящее что-либо, так сказать, сделать что-либо из того дела, которому призвана служить литература наша - сеять разумное, доброе и прекрасное, то на этом пути многим обязан я Вам!.."10

Главным, новаторским в повести "Человек из ресторана" было то, что Шмелев сумел полностью перевоплотиться в своего героя. "Хотелось, - писал Шмелев Горькому, раскрывая замысел повести, - выявить слугу человеческого, который по своей специфической деятельности как бы в фокусе представляет всю массу слуг на разных путях жизни". Ближе к вершине лакейство совершается уже "не за полтинник, а из высших соображений": так, важный господин в орденах кидается под стол, чтобы раньше официанта поднять оброненный министром платок. И чем ближе к вершине этой пирамиды, тем низменнее причины лакейства.

Мудрой горечью напитана исповедь Скороходова, старого, па исходе сил труженика, обесчещенного отца, изгоя, потерявшего жену и сына. Хотя "порядочное общество" лишило его даже имени, оставив безликое "человек!", он внутренне неизмеримо выше и порядочнее тех, кому прислуживает, видит посетителей насквозь и резко осуждает их хищничество и лицемерие. "Знаю я им цену настоящую, знаю-с, - говорит Скороходов, - как они там ни разговаривай по-французски и о разных предметах. Одна так-то все про то, как в подвалах обитают, и жалилась, что надо прекратить, а сама-то рябчика-то в белом вине так и лущит, так это ножичком-то по рябчику, как на скрипочке играет. Соловьями поют в теплом месте и перед зеркалами, и очень им обидно, что подвалы там и всякие заразы... Уж лучше бы ругались. По крайности сразу видать, что ты из себя представляешь. А нет... знают тоже, как подать, чтобы с пылью".

При всей жестокости скороходовского суда Шмелев не теряет чувства художественного такта: Скороходов и в своем социальном протесте остается "средним человеком", обывателем, предел мечтаний которого - собственный дом с душистым горошком, подсолнухами и породистыми курами-лангожанами. Его недоверие к господам - недоверие простолюдина, в котором ощущается неприязнь к образованным людям "вообще". И надо сказать, что чувство это в какой-то мере разделяет сам автор: мысль о фатальной разобщенности людей из "народа" и "общества", о невозможности соглашения между ними ощутима и в "Гражданине Уклейкине", и в более поздних, чем "Человек из ресторана", произведениях - повести "Стена" (1912), рассказах "Волчий перекат" (1913) и "Забавное приключение" (1916).

Повесть "Человек из ресторана", напечатанная в XXXVI сборнике "Знания", имела шумный успех. В ее положительной оценке сошлись рецензенты либеральной и консервативной печати. По мотивам шмелевской повести был создан фильм "Человек из ресторана", где роль Скороходова проникновенно сыграл выдающийся актер Михаил Чехов.

О стойкой популярности "Человека из ресторана" можно судить и по такому характерному эпизоду. Через семь лет после напечатания повести, в июне 1918 года, Шмелев, находясь в голодном Крыму, зашел в маленький ресторан с тщетной надеждой купить там хлеб. Вышедший к нему хозяин случайно услышал его фамилию и поинтересовался, не он ли автор книжки о жизни официанта. Когда Шмелев подтвердил это, хозяин увел его в свою комнату со словами: "Для вас хлеб есть"; С появлением "Человека из ресторана" Шмелев - широко читаемый, признанный в России прозаик. В 1912 году организуется Книгоиздательство писателей в Москве, членами-вкладчиками которого становятся С. А. Найденов, братья И. А. и Ю. А. Бунины, Б. К. Зайцев, В. В. Вересаев, Н. Д. Телешов, И. С. Шмелев и другие литераторы. Все дальнейшее творчество Шмелева 1910-х годов связано с этим издательством, в котором выходит собрание его сочинений а восьми томах. В течение 1912-1914 годов л Книгоиздательстве публикуются рассказы и повести Шмелева "Стена", "Пугливая тишина", "Росстани", "Виноград", упрочившие его положение в литературе как крупного писателя-реалиста.

Февральскую революцию 1917 года Шмелев встретил восторженно. Он совершает ряд поездок по России, выступает на собраниях и митингах. Особенно взволновала его встреча с политкаторжанами, возвращавшимися из Сибири. "Революционеры-каторжане, - с гордостью и изумлением писал Шмелев сыну Сергею, прапорщику артиллерии, в, действующую армию, - оказывается, очень меня любят как писателя, и я, хотя и отклонил от себя почетное слово - товарищ, но они мне на митингах заявили, что я - "ихний" и я их товарищ. Я был с ними на каторге и в неволе, - они меня читали, я облегчал им страдания"11.

Принимая перемены, превратившие Россию из монархии в республику, Шмелев, однако, не верил в возможность скорых и радикальных преобразований в России. "Глубокая социальная и политическая перестройка сразу вообще немыслима даже в культурнейших странах, - утверждал он в письме к сыну от 30 июля 1917 года, - в нашей же и подавно. Некультурный, темный вовсе народ наш не может воспринять идею переустройства даже приблизительно"12. Но он любил свой народ и сына наставлял: "Думаю, что много хорошего и даже чудесного сумеешь увидеть в русском человеке и полюбить его, видавшего так мало счастливой дола. Закрой глаза на его отрицательное (в ком его пет?), сумей извинить его, зная историю и теснины жизни. Сумей оцепить положительное"13.

Октябрь Шмелев не принял. Отход писателя от общественной деятельности, неприятие происходящего - все это сказалось и на его творчестве 1918-1922 годов. В ноябре 1918 года в Алуште Шмелев пишет повесть "Неупиваемая Чаша", которая позднее своей "чистотою и грустью красоты" вызвала восторженный отклик Томаса Манна (письмо Шмелеву от 26 мая 1926 года). Грустный рассказ о жизни или, скорее, о житии Ильи Шаронова, сына дворового маляра Терешки и тягловой Лушки Тихой, напоен и в самом деле подлинной поэзией, проникнут глубоким сочувствием к крепостному живописцу. Кротко и незлобиво, точно святой, прожил он свою недолгую жизнь и сгорел, как восковая свеча, полюбив молодую барыню.

Видя вокруг себя неисчислимые страдания и смерть, Шмелев выступает с осуждением войны "вообще" как массового психоза здоровых людей (повесть "Это было", 1919) или просто показывает бессмысленность гибели цельного и чистого Ивана в плену, на чужой стороне ("Чужой крови", 1918-1923). Во всех произведениях этих, лет уже ощутимы отголоски позднейшей проблематики Шмелева-эмигранта.

Об отъезде писателя в эмиграцию - разговор особый. О том, что он уезжать не собирался, свидетельствует уже тот факт, что в 1920 году Шмелев покупает в Алуште дом с клочком земли. Но трагическое обстоятельство все перевернуло.

Сказать, что он любил своего единственного сына Сергея - значит сказать очень мало. Прямо-таки с материнской нежностью относился он к нему, "дышал" над ним, а когда сын-офицер оказался на германской, в артиллерийском дивизионе, - считал дни, писал нежные письма. "Ну, дорогой мой, кровный мой, мальчик мой. Крепко и сладко целую твои глазки и всего тебя..." "Проводили тебя (после короткой побывки. - О. М.) - снова из меня душу вынули"14. Когда многопудовые германские снаряды - "чемоданы" - обрушивались на русские окопы и смерть витала рядом с его сыном, он тревожился, сделал ли его "растрепка", "ласточка" прививку и кутает ли шею шарфом.

В 1920 году офицер Добровольческой армии Сергей Шмелей, отказавшийся уехать с врангелевцами на чужбину, был расстрелян красными. И не он один.

Красный террор, развязанный в Крыму Бела Куном и его секретарем Землячкой, был только частью геноцида против русского парода. Однако он унес до 120 тысяч жизней. Коменданты городов получили телеграмму Бела Куна "с приказанием немедленно расстрелять всех зарегистрированных офицеров и военные чиновников"; "Война продолжится, пока в Красном Крыму останется хоть один белый офицер" - так гласили телеграммы заместителя Троцкого в Реввоенсовете Склянского15. Убивали но только офицеров - священников, солдат, инженеров, докторов, сестер милосердия, а также членов их семей.

Шмелев в обширном письме адвокату Оберу, защищавшему русского офицера Конради, застрелившего в 1923 году в Лозанне советского полпреда в Италии В. В. Воровского, сообщал о сыне:

"...Сергей Шмелев - участник Великой войны, затем - офицер Добровольческой армии Деникина в Туркестане. После, больной туберкулезом, служил в армии Врангеля, в Крыму, в городе Алуште, при управлении коменданта, не принимая участия в боях. При отступлении добровольцев остался в Крыму. Был арестован большевиками и увезен в Феодосию "для некоторых формальностей", как на мои просьбы и протесты ответили чекисты. Там его держали в подвале на каменном полу, с массой таких же офицеров, священников, чиновников. Морили голодом. Продержав с месяц, больного, погнали ночью за город и расстреляли"16.

Страдания отца описанию не поддаются. В ответ на приглашение, присланное Шмелеву Буниным, выехать за границу, "на отдых, на работу литературную", тот прислал письмо, "которое (по свидетельству В. Н. Муромцевой-Буниной) трудно читать без слез"17. Приняв бунинское приглашение и преодолев многочисленные препятствия, он выезжает в конце 1922 года в Берлин, а затем в Париж.

Поддавшись безмерному горю утраты, Шмелев переносит чувства осиротевшего отца на свои общественные взгляды и создает рассказы-памфлеты и памфлеты-повести - "Каменный век" (1924), "На пеньках" (1925), "Про одну старуху" (1925). Центральной здесь можно считать повесть "Солнце мертвых" (1923), которую сам Шмелев назвал "эпопеей". Вызвавшая восторженные отклики Томаса Манна, Герхарта Гауптмана, Сельмы Лагерлеф, переведенная на двенадцать языков, эта повесть - как бы плач по России, трагический эпос о гражданской войне. На фоне бесстрастной в своей красоте крымской природы страдает и гибнет все живое - птицы, животные, люди. "Солнце мертвых", - писал профессор Н. К. Кульман, - книга ужаса и скорби по погибающим ценностям человеческого духа. Для современного мира она звучит призывом: одумайтесь, пока не поздно; поймите, что вся ваша культура и цивилизация на краю бездонной пропасти"18.

И все же против русского человека Шмелев не озлобился, хотя и многое в новой жизни проклял.

О Шмелеве этой поры - о человеке и художнике - писал мне близко знавший его Борис Зайцев: "Писатель сильного темперамента, страстный, бурный, очень одаренный и подземно навсегда связанный с Россией, в частности с Москвой, а в Москве особенно - с Замоскворечьем. Он замоскворецким человеком остался и в Париже, ни с какого конца Запада принять не мог. Думаю, как и у Бунина, у меня, наиболее зрелые его произведения написаны здесь. Лично я считаю лучшими его книгами "Лето Господне" и "Богомолье" - в них наиболее полно выразилась его стихия".

В самом деле, именно "Лето Господне" (1933-1948) и "Богомолье" (1931), а также тематически примыкающие к ним рассказы "Небывалый обед", "Мартын и Кинга" и др. из незаконченной третьей книги явились вершиной позднего творчества Шмелева. Он написал немало замечательного и кроме этих книг (помимо уже упоминавшегося "Солнца мертвых" назову романы "Няня из Москвы", 1936; "История любовная", 1929; "Пути небесные", 1936; "Старый Валаам", 1935). Но магистральная тема, которая все более проявлялась, обнажалась, выявляла главную и сокровенную мысль жизни (что должно быть у каждого подлинного писателя), сосредоточенно открывается именно в этой незавершенной "трилогии", не поддающейся даже привычному жанровому определению (быль - небыль? миф - воспоминание? свободный эпос?): путешествие детской души, судьба, испытания, несчастья, просветление.

Здесь важен выход к чему-то положительному (иначе - зачем жить?) - к мысли о Родине. Шмелев пришел к ней на чужбине не сразу.

Из глубины души, со дна памяти подымались образы и картины, не давшие иссякнуть обмелевшему току творчества в пору отчаяния и скорби. Живя в Грасе, у Буниных, Шмелев рассказывает о себе, о своих ностальгических переживаниях А. И. Куприну, которого горячо любил: "Я по Вас стосковался. Думаете, весело я живу? Я не могу теперь весело! И пишу я - разве уж так весело? На миг забудешься... (...) Сейчас какой-то мистраль дует, и во мне дрожь внутри, и тоска, тоска. Я не на шутку по Вас соскучился. Доживаем дни свои в стране роскошной, чужой. Все - чужое. Души-то родной нет, а вежливости много. (...) Все у меня плохо, на душе-то"19.

Отсюда, из чужой и "роскошной" страны, с необыкновенной остротой и отчетливостью видится Шмелеву старая Россия, а в России - страна его детства, Москва, Замоскворечье.

Конечно, мир "Лета Господня" и "Богомолья", мир Горкина, Мартына и Кинги, "Наполеона", бараночника Феди и богомольной Домны Панферовны, старого кучера Антипушки и приказчика Василь Василича, "облезлого барина" Энтальцева в солдата Махорова "на деревянной ноге", колбасника Коровкина, рыбника Горностаева и "живоглота"-богатея крестного Кашина - этот мир одновременно и был, и не существовал никогда. Возвращаясь вспять силой воспоминаний, против течения времени - от устья к истокам, - Шмелев преображает все, увиденное вторично. Да и сам "я", Шмелев-ребенок, появляется перед читателем словно бы в столпе света, умудренный всем опытом только предстоящего ему пути. Но одновременно Шмелев создает свой особенный, "круглый" мир, маленькую вселенную, от которой исходит свет патриотического одушевления и высшей нравственности.

О Шмелеве, особенно его позднем творчестве, писали немало и основательно. Только по-немецки вышли две фундаментальные работы - М. Ашенбреннера и В. Шрика; существуют серьезные исследования и на других языках, число статей и рецензий велико. И все же среди этого обширного списка выделяются труды замечательного философа И. А. Ильина, которому Шмелев был особенно близок духовно и который нашел поэтому собственный ключ к шмелевскому творчеству (и прежде всего к книгам "Лето Господне" и "Богомолье") как к творчеству глубоко национальному. О "Лете Господне" он, в частности, писал:

"Великий мастер слова и образа, Шмелев создал здесь в величайшей простоте утонченную и незабываемую ткань русского быта, в словах точных, насыщенных и изобразительных: вот "тарта'нье" мартовской капели"; вот в солнечном луче "суетятся золотинки", "хряпкают топоры", покупаются "арбузы с подтреском", видна "черпая каша галок в небе". И так зарисовано все: от разливанного постного рынка до запахов и молитв яблочного Спаса, от "ро'зговин" до крещенского купанья в проруби. Все узрено и показано насыщенным видением, сердечным трепетом; все взято любовно, нежным, упоенным и упоительным проникновением; здесь вое лучится от сдержанных, непроливаемых слез умиленной и благодарной памяти. Россия и православный строй ее души показаны здесь силою ясновидящей любви"20.

"Богомолье", "Лето Господне", а также примыкающие к ним рассказы "Небывалый обед", "Мартын и Кинга" объединены не только духовной биографией ребенка, маленького Вани. Через материальный, вещный, густо насыщенный великолепными бытовыми и психологическими подробностями мир нам открывается нечто иное, более масштабное. Кажется, вся Россия, Русь предстает здесь "в преданьях старины глубокой", в своей темпераментной широте, истовой спокойствии, в волшебном сочетании наивной серьезности, строгого добродушия и лукавого юмора. Это воистину "потерянный рай" Шмелева-эмигранта, и не потому ли так велика сила ностальгической, пронзительной любви к родной земле, так ярко художественное ви'дение красочных, сменяющих друг друга картин. Книги эти служат глубинному познанию России, ее корневой системы, пробуждают любовь к нашим праотцам.

"Богомолье! - отмечал И. А. Ильин. - Вот чудесное слово для обозначения русского духа... Как же не ходить нам по нашим открытым, легким, разметавшимся пространствам, когда они сами, с детства, так вот и зовут нас - оставить привычное и уйти в необычное, сменить ветхое на обновленное, оторваться от каменеющего быта и попытаться прорваться к иному, к светлому и чистому бытию (...) и, вернувшись в свое жилище, обновить, освятить и его этим новым видением?.. Нам нельзя не странствовать по России: не потому, что мы "кочевники" и что оседлость нам "не дается", а потому, что сама Россия требует, чтобы мы обозрели ее и ее чудеса и красоты и через это постигли ее единство, ее единый лик, ее органическую цельность"21.

В этих "вершинных" книгах Шмелева, кажется, все погружено в быт, но художественная идея, из него вырастающая, летит над бытом, приближаясь уже к формам фольклора, сказания. Так, скорбная и трогательная кончина отца в "Лете Господнем" предваряется рядом грозных предзнаменований: вещими словами Пелагеи Ивановны, которая и себе предсказала смерть; многозначительными снами, привидевшимися Горкину и отцу; редкостным цветением "змеиного цвета", предвещающего беду; "темным огнем в глазу" бешеной лошади Стальной, "кыргыза", сбросившего на полном скаку отца. В совокупности все подробности, детали, мелочи объединяются внутренним художественным миросозерцанием Шмелева, достигая масштабности мифа, яви-сказки.

И язык, язык... Без преувеличения, не было подобного языка до Шмелева в русской литературе. В автобиографических книгах писатель расстилает огромные ковры, расшитые грубыми узорами сильно и смело расставленных слов, словец, словечек, словно вновь заговорил старый шмелевский двор на Большой Калужской. Казалось бы, живая, теплая речь. Но это не слог Уклейкина или Скороходова, когда язык был продолжением окружавшей Шмелева действительности, нес с собой сиюминутное, злободневное, то, что врывалось в форточку и наполняло русскую улицу в пору первой революции. Теперь на каждом слове - как бы позолота, теперь Шмелев не запоминает, а реставрирует слова. Издалека, извне восстанавливает он их в новом, уже волшебном великолепии. Отблеск небывшего, почти сказочного (как на легендарном "царском золотом", что подарен был плотнику Мартыну) ложится на слова.

Этот великолепный, отстоянный народный язык восхищал и продолжает восхищать. "Шмелев теперь - последний и единственный из русских писателей, у которого еще можно учиться богатству, мощи и свободе русского языка, - отмечал в 1933 году А. И. Куприн. - Шмелев изо всех русских самый распрерусский, да еще и коренной, прирожденный москвич, с московским говором, с московской независимостью и свободой духа"22. Если отбросить несправедливое и обидное для богатой отечественной литературы обобщение - "единственный", - эта оценка окажется верной и в наши дни.

Язык, тот великий русский язык, который помогал Тургеневу в дни "сомнений и тягостных раздумий", поддерживал и Шмелева в его любви к России. До конца своих дней чувствовал он саднящую боль от воспоминаний о Родине, ее природе, ее людях. В его последних книгах - крепчайший настой первородных русских слов, пейзажи-настроения, поражающие своей высокой лирикой, самый лик России, которая видится ему теперь во всей ее кротости и поэзии: "Этот весенний плеск остался в моих глазах - с праздничными рубахами, сапогами, лошадиным ржаньем, с запахами весеннего холодка, теплом в солнцем. Остался живым в душе, с тысячами Михаилов и Иванов, со всем мудреным до простоты-красоты душевным миром русского мужика, с его лукаво-веселыми глазами, то ясными, как вода, то омрачающимися до черной мути, со смехом и бойким словом, с лаской и дикой грубостью. Знаю, связан я с ним до века. Ничто не выплеснет из меня этот весенний плеск, светлую весну жизни... Вошло- и вместе со мной уйдет" ("Весенний плеск", 1928).

Шмелев страстно мечтал вернуться в Россию, хотя бы посмертно. Племянница его, собирательница русского фольклора Ю. А. Кутырина, писала мне 9 сентября 1959 года из Парижа: "Важный вопрос для меня, как помочь мне, душеприказчице (по воле завещания Ивана Сергеевича, моего незабвенного дяди Вани), выполнить его волю: перевезти его прах и его жены в Москву, для упокоения рядом с могилой отца его в Донском монастыре..."

Теперь, после смерти писателя, в Россию, на Родину, возвращаются его книги. Так продолжается вторая, уже нетленная его жизнь на родной земле. Вспомним еще раз слова А. Карташева о шмелевском творчестве: "Это уже не литература... Это "душа просит". Это утоление голода духовного".

**Список литературы**

Карташев А. Певец святой Руси (Памяти И. С. Шмелева). - "Возрождение", Париж, 1950, N 10. с. 157.

Кутырина Ю. А. Иван Шмелев. Париж, 1960, с. 5,

Русская литература, 1973, N 4, с. 142.

Устами Буниных. Дневники Ивана Алексеевича и Веры Николаевны и другие архивные материалы. Под редакцией Милицы Грин. В 3-х томах, т. 2. Франкфурт-на-Майне, 1981, с. 199.

Русская литература, 1973, N 4, с. 142.

Русская литература, 1973, N 4, с. 142-143.

Русская литература, 1973, N 4, с. 144.

Русская литература, 1973, N 4, с. 145.

Львов-Рогачевский В. Новейшая русская литература. М., 1927, с. 276.

Архив А. М. Горького (ИМЛИ).

Письмо от 17 апреля 1917 г. Отдел рукописей Государственной библиотеки СССР имени В. И. Ленина (ГБЛ).

Там же.

Там же.

Отдел рукописей ГБЛ.

Мельгунов С. П. Красный террор в России. Нью-Йорк, 1989, с. 66.

Кутырина Ю. А. Трагедия Шмелева. - "Возрождение". Париж, 1956, N 59, с. 133.

Устами Буниных..., т. 2, с. 99.

"Возрождение". Париж, 1966, N 59, с. 136.

Письмо от 19/6 сентября 1923 года. Цит. по кн.: Куприна К. А. Куприн - мой отец. М., 1979, с. 240-241.

Ильин И. А. Творчество И. С. Шмелева. - В его кн.: О тьме и просветлении. Мюнхен, 1959, с. 176.

Ильин И. А. О тьме и просветлении, с. 181.

Куприн А. И. К 60-летию И. С. Шмелева. - "За рулем". Париж, 1933, 7 декабря.